

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ 5040.	9
ГЛАВА ВТОРАЯ СЕМЕРКА	39
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ТРИЛЛИАРДЫ ЛИАРДОВ	69
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СВИНЬИ, ЗМЕИ И ЗВЁЗДЫ	100
ГЛАВА ПЯТАЯ МЕЖДУ	138
ГЛАВА ШЕСТАЯ MAL'ARIA.	186
ГЛАВА СЕДЬМАЯ ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ	232
ГЛАВА ВОСЬМАЯ ЕДИНОРОГ	269
ВМЕСТО ЭПИЛОГА СВИСТУЛЬКА	315

“Лишь потому, что я такой, я буду жить”

ШЕКСПИР,

“Всё хорошо, что хорошо кончается”

- * *“Simply the thing I am shall make me live”.*
Shakespeare, “All’s Well That Ends Well”

ГЛАВА ПЕРВАЯ

5040

Утро началось с ведра, что стояло в углу кухни. Первым к ведру подошел отец, его струя ударила в цинковое дно с режущим звоном. Второй была мать. Она постанывала: после недавних родов болела поясница, а мою младшую сестру она родила — шутка ли — в тридцать восемь лет. Третьей над ведром пристроилась нянька Нила, молоденькая смешливая девушка из деревенских; она мочилась с закрытыми глазами, чтоб никто ее не увидел. Помочившись, каждый зачерпывал ковшиком из кадушки печную золу и высыпал в ведро.

Ведро служило по ночам или такими утрами, как сегодня, — холодными и черными, а днем взрослые ходили в уличный туалет. До деревянной будки с двумя отделениями, мужским и женским, приходилось добираться по грязной тропинке между сараями.

Мне разрешалось пользоваться ночным горшком. Да и вообще никто меня не неволил, я мог оставаться дома и спать сколько влезет. Но не в этот день. Не в такой день. Сегодня — демонстрация трудящихся, посвященная Великому Октябрю, годовщине революции. Революция — это подвиг, а значит, и демонстрация — подвиг. И я отважно сел голой тощей задницей на холодный железный горшок.

Отец растопил кухонную плиту, печь в комнате, взял керосиновую лампу и ушел в сарай — кормить скотину, то есть поросенка, кур и кроликов.

Вскоре зашумел чайник, в квартире запахло котлетами, утюгом, подпаленной тряпкой, стало весело и нервно.

За окнами мало-помалу светало.

В тот момент, когда мать — голова в бигудях, но глаза уже подведены черным карандашом — позвала к столу, прозвучала Труба.

Городок жил по Трубе бумажной фабрики. Ей подпевали трубы мукомольного и маргаринового заводов, но их голоса, конечно, не шли ни в какое сравнение с мощным басом главной Трубы — идеального восьмидесятиметрового конуса из красного кирпича, который был виден из любой точки городка. Фабрика работала круглосуточно, безостановочно, и трижды в день, каждые восемь часов, Труба звала на работу новые смены сушильщиков, сеточников, каландровщиков, грузчиков, электриков, учетчиков, нормировщиков, инженеров, столяров и сторожей. Но сегодня она звала всех свободных от смен — на демонстрацию, на подвиг.

От нашего дома до проходной фабрики было минут десять ходу, поэтому мы не торопились.

После завтрака нянька занялась грязной посудой, мать — разбором бигудей, а отец взялся за бритье. По воскресеньям он ходил в парикмахерскую, где пузатый еврей Левка брил клиентов по старому обычаю: с пальцем — за десять копеек, с огурцом — за пятнадцать. То есть он засовывал клиенту в рот палец, чтоб натянуть щеку для чистого бритья, а если посетитель был готов раскошелиться, то вместо пальца Левка использовал огурец. Отец брился с огурцом. В будние дни он, разумеется, брился сам.

Отец поставил на подоконник зеркало, положил на блюдечко кусочек квасцов, взбил в латунном стаканчике мыльную пену и стал править на туго натянутом кожаном ремне трофейную бритву, бросив мне через плечо: “Три раза”. До выхода я должен был не менее трех раз помочиться, чтоб во время торжественного шествия не бегать по кустам.

Мать достала из шкафчика шкатулку с наградами и молча посмотрела на меня. Я закивал головой: да-да-да. Я был уверен, что все ордена и медали отца — на месте.

Играя в войнушку, ребята надевали отцовские медали-ордена, и, случалось, теряли их. За это нас, конечно, наказывали, но без страсти: взрослые в те годы старались забыть о войне, жить будущим, и не придавали такого значения своим боевым наградам, как при позднем Брежневе. В нашей мальчишеской компании были и немецкие награ-

ды — кресты и медали, которые мы находили на чердаках, в развалинах или выкапывали на огородах. Их нацепляли те, кто играл “за немцев”.

Отец надел пиджак, выпрямился, мать встала на низкую скамеечку и стала прикреплять награды, действуя в строгом соответствии с приказом №240 от 21 июня 1943 года “О правилах ношения орденов, медалей, орденских лент, лент медалей и военных знаков отличия военнослужащими Красной Армии”: орден Красного Знамени и медаль “За отвагу” — слева, орден Александра Невского — справа. Отец помнил этот приказ наизусть и терпеть не мог фильмов, в которых солдаты и офицеры шли в атаку с наградами на груди, что было запрещено: “С полевой формой награды носили только по государственным праздникам, а перед боем сдавали старшине роты под расписку”.

Мать ворчала: “Пора бы второй пиджак купить или построить, а то в этом — и в пир, и в мир, и в честные люди... Ну вот, кажется, всё...”

Отец повел плечами и снял жену со скамеечки.

Нянька прижала пухлые ручки к пышной груди и прошептала: “Жених...”.

Отец дал ей щелбана.

Наконец, мы вышли во двор, где уже собрались соседи.

Ближайшим нашим соседом был дюжий седобородый старикан Добробабин, кавалер четырех Георгиевских крестов и трех орденов солдатской Славы. Он был замечательным плотником, столяром и бабником. Рассказывали, что однажды он

закрыл в гробу заказчика, чтобы тот “пообвыкся”, и пока тот обвыкался, так отходил хозяйку, что она ему заказала еще один гроб — для следующего мужа. Женщины с усмешечкой называли старика Кавалером.

Старик с поклоном приветствовал жену Витьки Колесова — Кристину, виленскую польку, которую все во дворе звали пани Крысей, а за глаза — Крысой-в-Шляпе, хотя она была милой дамой и главным экономистом бумажной фабрики, а ее шляпкам завидовали все женщины.

Я сразу кинулся к ровеснику Женьке Нестерову. Нас называли молочными братьями: когда у моей матери кончилось грудное молоко, Женькина мать, тетя Лида Нестерова, поделилась со мной своим. Она была огромной и доброй женщиной, подкармливала нас то медом с огурцами, то простоквашей с хлебом. А ее старшая дочь — четырнадцатилетняя Настена, могучей статью пошедшая в мать, однажды зазвала нас с Женькой в кусты за туалетом и дала пососать свои холодные груди.

Муж тети Лиды работал каландровщиком, был человеком смирным и сильным: однажды он на спор зубами выдернул из бревна толстенный ржавый гвоздь.

Этажом выше Нестеровых жили Байкаловы. Про бесшабашного Леху Байкалова соседи говорили: “Метр курит — два бросает”. Во время войны он был командиром торпедного катера, а теперь работал главным механиком фабрики. Леха носил тельняшку и фуражку-капитанку с золотым

“крабом”, пил водку левой ноздрей, то и дело дрался с женой — маленькой кривоногой рыжухой Зинкой, которая подозревала, что ее муж переспал чуть не со всеми женщинами в округе.

И первой под ее подозрение попадала Марина Пащенко, которую и взрослые, и дети, и даже касирша в день получки называли Пащей. А Зинка Байкалова звала ее Королевой Бузины.

Почти весь наш городок лежал в развалинах — всюду отгрызки домов, стены с оконными проемами, подвалы без зданий, и всё это поросло кустами бузины. Летом ее густая листва скрывала всё это убожество, в кустах можно было наскоро справиться нужду, потому что на весь городок не было ни одного общественного туалета, а мужчины там выпивали — подальше от посторонних глаз. Вечерами влюбленные после кино, прогулявшись по городу, посидев в пустом зале ожидания железнодорожного вокзала, постояв на мосту через речку Лаву, забирались наконец в заросли бузины, где свобода одного ограничивалась лишь свободой другого. И если после этого у девушки появлялся ребенок, отца которого было невозможно отыскать среди одинаковых солдат местного гарнизона, про такого ребенка говорили: “Из бузины”.

У Пащей было узкое горбоносое лицо с крупными губами, высокая шея, большая грудь, узкая талия, мощные бёдра, округлые мускулистые икры, а пальцы на ногах у нее — наверное, из-за заостренных ногтей — были похожи на птичьи когти. Когда она выходила во двор развешивать белье — раскрасневшаяся, в коротком платье-ру-

башке, босая, с прилипшими ко лбу русыми кудрями — и поднималась на цыпочки, доминошники за столиком под деревьями замирали, затаив дыхание.

Обе ее дочери были “из бузины”, и старшая белобрысая Ниночка, и младшая смуглянка Верочка, обе — от неизвестных отцов. Костистая Ниночка дралась как мальчишка, хорошо училась и презирала мать. А Верочка, моя ровесница, была настоящей *пащей*, падшей, и она любила, чтобы ее лизали. Забравшись в укромное местечко, она раздевалась догола и позволяла мальчишкам облизывать ее сладкое пухлое тельце, каждую сладкую складочку, каждый сладкий пальчик, и два жалких мышонка, дрожа от страха и стыда, толкаясь и мыча, с наслаждением лизали ее упоительные складочки и липкие ее пальчики, а она урчала и стонала, доводя нас до изнеможения. Но потом появлялись братья Костылевы — уж эти-то трое знали, что нужно делать с разомлевшей Верочкой, и гнали нас взащей.

Шептались, будто братья Костылевы по ночам шастали к старушке, которая жила на Первом хуторе со своей Люболей. Это были сиамские близнецы, сросшиеся Люба и Оля, у которых были две ноги и три руки. Если кто-нибудь вступит с ними в драку и схватит чудище за руки, его третья рука внезапно выскочит из-под накидки и ударит противника ножом. И вот с этой-то страшной Люболей дикари Костылевы якобы любили позабавиться.

Семья Костылевых была большой, злой и вечно голодной. Мальчишки тащили в рот всё, что

казалось им съедобным, даже речных устриц-жемчужниц, которых варили в ивняке на костре.

— На мясо не годятся, только на пуговицы, — сказал однажды про Костылевых Леха Байкалов. — Список смертных грехов, а не люди.

— Список смертных грехов, — возразила ему Вероника Андреевна Жилинская, — это не только список всего зла и дряни, на которые способны люди, но это еще и список человеческих возможностей.

Байкалов снял фуражку и дурашливо поклонился Веронике Андреевне, которую уважал за ум, твердость и непробиваемый идеализм.

Она работала медсестрой в госпитале для безнадежных инвалидов войны, и когда в Москве решили избавиться от колясочников, сослав их со всей страны на Валаам, на верную погибель, ночью тайком вынесла в мешке за плечами своего Илюшу, который вскоре стал ее мужем и отцом троих ее дочерей — таких же умных, ясноглазых и твердых, как их мать. Жилинская выучилась в институте и стала врачом-педиатром — ее уважал весь городок. А ее муж был мастером на все руки: чинил замки, велосипеды и будильники, лудил кастрюли, плел ивовые корзины и знал наизусть всего “Евгения Онегина”.

Я много раз потом слышал от Вероники Андреевны это странное выражение про список смертных грехов, пока не понял, что смысл-то его, в общем, ясен и прост: человек может и должен черпать силы в осознании собственной греховности. Эта мысль была дорога Веронике Андреевне еще